

Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»

1

Вы напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые души». Это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает всё; но кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко внаружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупницу ее можно простить всякий оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках

Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать. В самом деле, если бы я не торопился печатаньем рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было являться в свет. Самые эпиграммы и насмешки надой мной были мне нужны, несмотря на то что с первого разу пришлось очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благо-дарить ежеминутно нас поражающую руку.

Я бы желал, однако ж, побольше критик не со стороны литераторов, но со стороны людей, занятых делом самой жизни, со стороны практических людей; как на беду, кроме литераторов, не отозвался никто. А между тем «Мертвые души» произвели много шума, много ропота, задели за живое многих и насмешкой, и правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который у всех ежедневно перед глазами; исполнены промахов, анахронизмов, явного незнания многих предметов; местами даже с умыслом помещено обидное и задевающее: авось кто-нибудь меня выберит хорошенько и в брани, в гневе выскажет мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще умно! Служащий чиновник мог бы мне явно доказать, в виду всех, неправдоподобность мной изображенного события приведеньем двух-трех действительно случившихся дел и тем бы опроверг меня лучше всяких слов или таким же самым образом мог бы защитить и оправдать справедливость мной описанного. Приведеньем события случившегося лучше доказывается дело, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованиями. Мог бы то же сделать и купец и помещик – словом, всякий грамотей, сидит ли он сиднем на месте или рыскает вдоль и поперек по всему лицу русской земли. Сверх собственного взгляда своего всяк человек, с того места или ступеньки в обществе, на которую поставили его должность, званье и образование, имеет случай видеть тот же предмет с такой стороны, с которой, кроме его, никто другой не может видеть. По поводу «Мертвых душ» могла бы написаться всей толпой читате-

лей другая книга, несравненно любопытнейшая «Мертвых душ», которая могла бы научить не только меня, но и самих читателей, потому что – нечего таить греха – все мы очень плохо знаем Россию.

И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышанье! Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души. И меня же упрекают в плохом знании России! Как будто непременно силой Святого Духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее, – без наученья научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званием писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной и притом еще принужденный жить вдали от России, какими путями могу я научиться? Меня же не научат этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель – сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие. И говорю это не даром. Видит Бог, говорю не даром!

1843

2

Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в превратном смысле. Они так неясны, так мало вяжутся с предметами, проходящими пред глазами читателя, так неважно попад складу и замашке всего сочинения, что ввели в равное заблуждение как противников, так и защитников. Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет; я краснел даже от изъяснений их в мою пользу. И поделом мне! Ни в каком случае не следовало выдавать сочинения, которое хотя выкроено было недурно, но сшито кое-как белыми нитками, подобно платью, приносимому портным только для примерки. Дивлюсь только тому, что мало было сделано упреков в отношении к искусству и творческой науке. Этому помешало как гневное расположение моих критиков, так и непривычка всматриваться в постройку сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к другим, где писатель изменил самому себе, не выдержав своего собственного, уже раз принятого тона. Никто не заме-

тил даже, что последняя половина книги отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные обстоятельства сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что не столько выступает внутренний дух всего сочинения, сколько мечется в глаза пестрота частей и лоскутность его. Словом, можно было много сделать нападений несравненно дельнейших, выбрать меня гораздо больше, нежели теперь бранят, и выбрать за дело. Но речь не о том. Речь о лирическом отступлении, на которое больше всего напали журналисты, видя в нем признаки самонадеянности, самохвальства и гордости, доселе еще неслыханной ни в одном писателе. Разумею то место в последней главе, когда, изобразив выезд Чичикова из города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится сам на его место и, пораженный скучным однообразием предметов, пустынной бесприютностью пространств наших и грустной песней, несущейся по всему лицу земли русской от моря до моря, обращается в лирическом воззвании к самой России, спрашивая у нее самой объяснения непонятного чувства, его объявшего, то есть: зачем и почему ему кажется, что будто всё, что ни есть в ней, от предмета одушевленного до бездушного, вперило на него глаза свои и чего-то ждет от него. Слова эти были приняты за гордость и доселе неслыханное хвастовство, между тем как они ни то, ни другое. Это просто нескладное выражение истинного чувства. Мне и доньше кажется то же. Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздражающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому – именно ему самому, – тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе. Разберем дело, как оно есть. Вот уже почти полтора года лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудья для дела, и до сих пор остаются так же пустынно, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной

нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» Отчего это? Кто виноват? Мы или правительство? Но правительство во все время действовало без устани. Свидетельством тому целые томы постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных домов, множество изданных книг, множество заведенных заведений всякого рода: учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких, каких нигде в других государствах не заводят правительства. Сверху раздаются вопросы, ответы снизу. Сверху раздавались иногда такие вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски великодушном движении многих государей, действовавших даже в ущерб собственным выгодам. А как было на это все ответствовано снизу? Дело ведь в применении, в умении приложить данную мысль таким образом, чтобы она принялась и поселилась в нас. Указ, как бы он обдуман и определителен ни был, есть не более как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желанья применить его к делу той именно стороной, какой нужно и какой следует и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости Божеской, а не человеческой. Без того все обратится во зло. Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загрозоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку! Словом – везде, куды ни обращусь, вижу, что виноват применитель, стало быть наш же брат: или виноват тем, что поторопился, желая слишком скоро прославиться и схватить орденишку; или виноват тем, что слишком сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвование; не расспросясь разума, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочать, как знаток, и потом вдруг, также по русскому обычаю, простыл, увидевши неудачу; или же виноват, наконец, тем, что из-за какого-нибудь оскорбленного мелкого честолюбия все бросил и то место, на котором было начал так благородно подвигаться, сдал первому плуту – пусть его грабит людей. Словом – у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать

из-за него и честолюбьем, и самолюбьем, и всеми мелочами легко раздражающегося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон – служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счастья других, а не для своего. Напротив, в последнее время, как бы еще нарочно, старался русский человек выставить всем на вид свою щекотливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбья своего на всех путях. Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали все, что им следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым светом, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них укоризненно всякий бездушный предмет ее пустынных пространств, что все ими довольно и ничего от них не ждет. Знаю только то, что я слышал себе упрек. Слышу его и теперь. И на моем поприще писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную. Что из того, что в моем сердце обитало всегда желанье добра и что единственно из-за него я взялся за перо? Кто исполнил его? Ну, хоть бы и это мое сочиненье, которое теперь вышло и которому название «Мертвые души», – произвело ли оно то впечатление, какое должно было произвести, если бы только было написано так, как следует? Своих же собственных мыслей простых, неголоволomных мыслей, я не сумел передать и сам же подал повод к истолкованию их в превратную и скорее вредную, чем полезную сторону. Кто виноват? Неужели мне говорить, что меня подталкивали просьбы приятелей или нетерпеливые желания любителей изящного, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мне говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимые для моего прожития деньги, я должен был поторопиться безвременным выпуском моей книги? Нет, кто решился исполнить свое дело честно, того не могут поколебать никакие обстоятельства, тот протянет руку и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело, тот не посмотрит ни на какие временные нарекания, ниже пустые приличия света. Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот ее не любит. Я почувствовал презренную слабость моего характера, мое подлое малодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрек себе во всем, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим

простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращение к России: «В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?» Оно было сказано не для картины или похвалы: я это чувствовал; я это чувствую и теперь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое звание и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Я слышал то великое поприще, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что перед ним только такой простор и только его душе знакомо богатырство,— вот отчего у меня исторгнулось то восклицание, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадеянность!

1843

3

Охота же тебе, будучи таким знатоком и ведателем человека, задавать мне те же пустые запросы, которые умеют задать и другие. Половина их относится к тому, что еще впереди. Ну что толку в подобном любопытстве? Один только запрос умен и достоин тебя, и я бы желал, чтобы его мне сделали и другие, хотя не знаю, сумел ли бы на него отвечать умно,— именно запрос: отчего герои моих последних произведений, и в особенности «Мертвых душ», будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, точно как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще год назад мне было бы неловко отвечать на это даже и тебе. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определяю тебе себя самого как писателя. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в

глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей. Оно впоследствии углубилось во мне еще сильнее от соединения с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило с большей силою в «Мертвых душах». «Мертвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погребца на Божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явление замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращение от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противоположно ничтожному. Итак, вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.

Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся видней всех моих прочих пороков, все равно как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить Его, было *желанье быть лучшим*.

Я не любил никогда моих дурных качеств, и если бы небесная любовь Божья не распорядила так, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу, наместо того чтобы открыться вдруг и разом перед моими глазами, в то время как я не имел еще никакого понятия о всей неизмеримости Его бесконечного милосердия,— я бы повесился. По мере того как они стали открываться, чудным высшим внушением усиливалось во мне желание избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует: если бы я видел в этом пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявил. С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем чем ни попало. Если бы кто увидал те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебе только то, что когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствие света*. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души». Я увидел, что многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом. Притом мне хотелось попробовать, что скажет вообще русский человек, если его попотчевашь его же собственной пошлостью. Вследствие уже давно принятого плана «Мертвых душ» для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных лю-

дей; напротив, в них собраны черты от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется только в разжалованном виде из генералов в солдаты. Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей, есть и твои. Я тебе это покажу после, когда это будет тебе нужно; до времени это моя тайна. Мне потребно было отобрать от всех прекрасных людей, которых я знал, все пошное и гадкое, которое они захватили нечаянно, и возвратить законным их владельцам. Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся *пошлость* и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы,— вот и все! Первая часть, несмотря на все свои несовершенства, главное дело сделала: она поселила во всех отвращенье от моих героев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя. Покамест для меня этого довольно; за другим я и не гоняюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительней, если бы я, не торопясь выдачею в свет, обработал ее получше. Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселил я их твердо на той земле, на которой им быть должноствовало, и не вошли они в круг наших обычаев, обставясь всеми обстоятельствами действительно русской жизни. Еще вся книга не более как недоносок; но дух ее разнесся уже от нее незримо, и самое ее раннее появление может быть полезно мне тем, что подвигнет моих читателей указать все промахи относительно общественных и частных порядков внутри России. Вот если бы ты, вместо того чтобы предлагать мне пустые запросы (которыми напичкал половину письма своего и которые ни к чему не ведут, кроме удовлетворения какого-то праздного любопытства), да собрал бы вместо того дельные замечания на мою книгу, как свои так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случались в околотке вашем и во всей губернии, в подтверждение или в опровержение всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу,— тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал тебе мое крепкое спасибо. Как бы от этого раздвинулся мой кругозор! Как бы освежилась моя голова и как бы успешней пошло мое дело! Но того, о чем я прошу, никто не исполняет: мои запросы никто не считает важными, а только уважает свои; а иной даже требует от

меня какой-то искренности и откровенности, не понимая сам, чего он требует. И к чему это пустое любопытство знать вперед и эта пустая, ни к чему не ведущая торопливость, которою, как я замечаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, как в природе совершается все чинно и мудро, в каком стройном законе, и как все разумно исходит одно из другого! Одни мы, Бог весть из чего, мечаемся. Все торопится. Все в какой-то горячке. Ну, взвесил ли ты хорошенько слова свои: «Второй том нужен теперь необходимо»? Чтобы я из-за того только, что есть против меня всеобщее неудовольствие, стал торопиться вторым томом так же глупо, как поторопился с первым. Да разве уж я совсем выжил из ума? Неудовольствие это мне нужно; в неудовольствии человек хоть что-нибудь мне выскажет. И откуда вывел ты заключение, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а по-моему, не раньше как через два-три года, да и то еще принимая в соображение попутный ход обстоятельств и времени. Кто ж из нас прав? Тот ли, у кого второй том уже сидит в голове, или тот, который даже и не знает, в чем состоит второй том? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как будто непременно другой должен из всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьезно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо,— скажут: «Зачем поторопился?» Но оканчиваю тебе поученье. На твой умный вопрос я отвечал и даже сказал тебе то, чего доселе не говорил еще никому. Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог. И это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посме-

яться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна. И когда поверяю себя на исповеди перед Тем, Кто повелел мне быть в мире и освобождаться от моих недостатков, вижу много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году: святая сила помогла мне от тех оторваться. А тебе советую не пропустить мимо ушей этих слов, но по прочтенье моего письма остаться одному на несколько минут и, от всего отделясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши перед собою всю свою жизнь, чтобы проверить на деле истину слов моих. В этом же моем ответе найдешь ответ и на другие запросы, если попристальной вглядишься. Тебе объяснится также и то, почему не выставял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от Неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошмаров – я также не выдумал, кошмары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло.

1843

4

Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», – говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред,

нежели пользу. Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь любителей искусств и литературы, но всех читателей, для которых писались «Мертвые души». Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы, мы лучше вас!» Это хвастовство – губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! Нет, по мне, уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек, по крайней мере, увидит свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнит невольно о Боге, возносящем и выводящем все из глубины ничтожества; в последнем же случае он убежит от самого себя прямо в руки к черту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человеку. Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен. Не судите обо мне и не выводите своих заключений: вы ошибетесь, подобно тем из моих приятелей, которые, создавши из меня свой собственный идеал писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателе, начали было от меня требовать, чтобы я отвечал ими же созданному идеалу. Создал меня Бог и не скрыл от меня назначения моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое – *душа и прочное дело жизни*. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их то-

ропятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. Опасения же ваши насчет хилого моего здоровья, которое, может быть, не позволит мне написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бывает мне так тяжело, что без Бога и не перенес бы. К изнуренью сил прибавилась еще и зябкость в такой мере, что не знаю, как и чем согреться: нужно делать движение, а делать движение – нет сил. Едва час в день выберется для труда, и тот не всегда свежий. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тот, Кто горем, недугами и препятствиями ускорил развитие сил и мыслей моих, без которых я бы и не замыслил своего труда, Кто выработал большую половину его в голове моей, Тот даст силу совершить и остальную – положить на бумагу. Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, все крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет.